

Тимур Кибиров:

Я цитировал наши песни и описывал нравы казарм

Его узнали как
поэта
социального.
Потом записали
в
концептуалисты.
А он вдруг
взял — и стал
писать о любви...



Тимур Кибиров стал известен сравнительно недавно. Некоторое время его имя мелькало в стане перестроечных тираноборцев (благодаря «Песне о сервелате» и поэме, посвященной Черненко). Потом говорили о концептуализме Кибирова. Потом — о любви к классике. Год назад на пару с Приговым Тимур Кибиров получил Пушкинскую премию. Недавно выпустил две книги — «Стихи о любви» и «Сантименты».

... Что было сил
Я воспевал грудастую студентку
МОПИ имени Крупской.
Я любил
ее, должно быть, Белые
коленки
Я почему-то с амфорой
сравнил.

Как Морж из «Алисы в Зазеркалье» мог бы до скончания веков говорить с устрицами о королях, капусте, сургучных печатях, кораблях и башмаках (если бы не закончились устрицы), так и Кибиров перечисляет, называет, напоминает. Сестры Лисица, караул у могильной плиты, запах «Беломора» и шашлыка на ВДНХ. Вездущая тетенька с веслом — безвкусная, но бесконечно родная и милая. И цитаты — почти хрестоматийные, вызывающие детскую радость и приступ ностальгии: это вот Пушкин. А это Блок. А это... Ой, знаю-знаю! Это букварь. Или правила октябрят?

Завершить его поэмы можно только словом «конец», ибо просто знаки препинания — не финишная лента, а краткая пауза. После которой можно вновь перечислять, перебирать воспоминания и старые открытки.

— Как только ваши стихи стали появляться во всяческих сборниках, вас сразу отнесли к концептуализму. А вы сами придумали для себя какой-нибудь «изм»?

— Вообще-то это не мое дело, я не литературовед. А с концептуализмом и тогда все вышло по недоразумению. Наверное, из-за любви критиков к красивым словам. Как в семидесятые годы все обозначалось словом «тир», так и теперь мы говорим «концепт». Модное, красивое слово. Правда, я тогда часто выступал вместе с Приговым и Рубинштейном, и можно было бы отнести некую общую технику. Но она была общей для огромного количества людей и не являлась открытием концептуализма. Цитатность, оперирование образами советского массового сознания... К

тому времени это было практически у всех. Я всего лишь нормальный, традиционный поэт. Русский, лирический, традиционный.

— Вы представляете себе тех людей, которые читают ваши стихи?

— Я над этим никогда не задумывался, хотя, конечно, я знаю, на кого ориентируюсь. Мне хочется, чтобы мои стихи были одинаково интересны и высококолым филологам, и среднему российскому читателю стихов. Они могут ему не нравиться, но они должны быть доступны. То есть, условно говоря, чтобы читатель Евтушенко мог быть и моим читателем. По уровню подготовки.

— А вы относите себя к высококолым филологам?

— Нет. Я говорю это без всякой кичливости. Нет, к сожалению. Но хотел бы.

— Вы закончили педагогический. Вам приходилось учить детей?

— Я совсем немножко преподавал в гимназии и в лицее. Читал курс лекций о современной поэзии и историю русской поэзии. Надо сказать, что в последнем я преуспел: помнится, одна девочка даже плакала над судьбой Тредиаковского. Но для меня все это было достаточно тяжело, и, честно говоря, я пошел туда только потому, что в семье совсем не было денег. А с современной поэзией вышло совсем смешно: я рассказывал о своих друзьях. Выглядело это примерно так: «Посмотрите, дети, какое хорошее стихотворение написал Сергей Гандлевский...» И вот когда я уже поведал обо всех своих знакомых, мне обломилась эта Пушкинская премия, что было весьма кстати.

— В этом году у вас вышло аж две книжки — «Сантименты» и «Стихи о любви». Издавать стихи сегодня ведь вряд ли прибыльно...

— Да, подобного рода литература — убыточная. Но на самом деле это везде убыточно, не только у нас. И такое положение дел печально, но нормально. Конечно, в шестидесятые годы издательство могло обогатиться, издав сборник Евтушенко миллионным тиражом. Но это тогда была ненормальная ситуация, а не теперь. Поэзия — какой бы она ни была демократичной — дело все равно элитарное, и конкурировать с Чейзом не должно.

— А вы читаете массовую литературу?

— Да, и хорошая массовая литература у меня вызывает

удовольствие. Много-то я не читаю, но вот недавно прочел несколько романов Стивена Кинга. Просто с восторгом. Потому что это очень талантливо и безумно интересно, только переводы почти всегда отвратительны.

— Вам никогда не хотелось самому написать что-нибудь типа «Краха Коньковской мафии» или «Алькова графини Д.»?

— Если бы я мог качественно написать детектив или эротический роман, я бы с удовольствием это сделал. Для двадцатого века это подходит идеально. Конечно, можно отказаться от борьбы с массовой литературой и от ее приемов и жанров, решив: ну пусть правят бал эти гады, а мы будем в своих маленьких культурных нишах заниматься своими увлекательными интеллектуальными играми. Это вполне достойное занятие, и многие писатели по такому пути и идут. Но мне или мое просто-душье, или мой темперамент не позволяют. Мне хочется предпринять заведомо безнадежную попытку как-то конкурировать. Хотя бы какой-то минимум читателей отвоювать у Чейза.

— Тяжело...

— Но как сказал кто-то, доблесть воина не в том, чтобы победить, а в том, чтобы сражаться. А потом — на этом пути открываются большие возможности. Тогда писатель ориентируется не только на заведомых своих единомышленников и собратьев по филологическому гурманству. Он держит в голове — хотя бы чуть-чуть — своего соседа по лестничной клетке.

— А кого вы считаете своими единомышленниками?

— Я ощущаю свою близость к двум поэтам, которые — как это ни странно — стоят на противоположных позициях в литературе. Один подчеркнут, демонстративно традиционен, это Сережа Гандлевский. И другой Лев Рубинштейн. Предельная степень новаторства и авангардизма. Тем не менее в моем сознании они как-то объединены, и я даже не возьмусь сформулировать, чем. Может быть, просто любовью к языку и к этой жизни. Вниманием к ней, любованием. Хотя бы любованием — о любви в современной литературе трудно говорить. Интересом к чему-то, что лежит вне собственной персоны.

Вообще, на мой взгляд, существует два типа художников. И дело не в том, какой из них лучше. Говоря высокопарно, первый тип считает, что мир сотворен не очень удачно и нужно в творчестве этот материал пересоздать. Исправить ошибки. Второй же тип смиренно сознает себя благодетельствованным. И пытается свое ощущение чужда, ужаса или восторга передать другим. Толкнуть локтем и сказать: смотри, как интересно.

— В одном из предисловий к своим книгам вы упоминали «банальную боязнь банальности». Как вы сами относитесь к банальности?

— Это набоковское выражение. В общем-то, что такое банальность, все понимают примерно одинаково. Просто бывают разные банальности. Если банальность соответству-

ет истине, то ее надо поддерживать. Одна из главных задач художника во все времена — те банальные, но очень важные вещи, которые стираются от долгого употребления и начинают вызывать у каждого человека с мало-мальски развитым вкусом раздражение, сделать опять новыми и важными. И это безумно сложно, потому что гораздо легче написать интересно про кровосмесительные связи, чем о любви матери к ребенку. Второе сейчас практически невозможно, для этого нужен уж очень большой талант. Чтобы это были не просто слюни.

— Чем поэзия отличается от графомании?

— А ничем. Просто есть плохая и хорошая поэзия. Всякий человек, который, вместо того чтобы строить дома, оперировать людьми или рекетировать палатки, маниакально сидит над листом бумаги и строчит... Он графоман, безусловно. Просто у некоторых из этой графомании получается нечто, интересное не только им самим.

— Критики раньше писали про ваш «социальный пафос». Он еще остался?

— Пожалуй, в стихах, написанных в последние годы, ничего такого нет. Да я думаю, что и раньше... Во всяком случае у меня никогда не было задачи сокрушить тоталитаризм. Я слишком скромный для этого человек. Просто жизнь была переполнена всем этим — жэками, Черненко, нехваткой колбасы. Это было то, что волновало и меня, и большинство. Даже те, кто мог надменно морщить нос и говорить, что они далеки от политики, все же жили именно этим. Удивительно, что так мало людей об этом писало. И кроме естественного человеческого желания, если уж не бороться со всей этой гадостью, то хотя бы дразнить, было и менее естественное, чисто писательское желание все это закрепить на бумаге. Потому что, как бы это ни было ужасно, но это жизнь. Невыносимо было бы думать, что все пройдет бесследно. И потому я с завидным упорством цитировал советские песни и описывал нравы казарм.

— В своих стихах вы с такой нежностью перечисляете какие-то реалии прошлого, тетеньку с веслом, общежитские запахи, красные галстуки. У вас есть любимое пионерское воспоминание?

— Любимое пионерское воспоминание? Да. Помнится, мне было лет десять, и я где-то пятнадцать минут — но мне они показались Вечностью — стоял и смотрел, как здоровенный второгондик кидает мокрой тряпкой в бюст Ленина. С какой-то странной методичностью, но, как я сейчас понимаю, без идеологической подоплеки. Я чувствовал, что должен вступить, слезы закипали у меня в груди, но я знал, что это страшный хулиган. Я стоял и терзался от собственной трусости, но потом не выдержал и с диким криком ринулся на обидчика. Помнится, тот был весьма удивлен...

Валентина ЛЬВОВА.

Кибиров Тимур

22.9.94